

## ПРЕДСМОГИЗМ, СМОГИЗМ, ПОСТСМОГИЗМ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

Л. С. Колганов

Кирият-Гат, Израиль

Статья посвящена анализу поэтических течений предсмогизма, смогизма и постсмогизма в русской литературе XX века. Рассмотрены ключевые фигуры каждого течения и их вклад в развитие поэтической системы русской лирики.

**Ключевые слова:** русская поэзия XX века, предсмогизм, смогизм, постсмогизм.

*Памяти Леонида Губанова*

Сорок дней.

*Л. Г.*

Словно листья, готовый к отлету,  
Отлетел серый стон твоих глаз,  
И души неземному полету  
Не страшны псы борзые сейчас!  
Смело выйдя навстречь листопаду,  
Обнажилась древесная голь,  
И души вековому разладу  
Не страшна ни одна из неволь!  
Лишь над гранью печальных стаканов:  
То ль моя занавеска скользит,  
То ль какой-то неведомый странник  
Сорок дней предо мною сквозит!  
Отлетай! Сорок ден пролетели!  
И — как ведьма, любя и губя,  
Мать босая бесснежных метелей  
Отпускает на волю тебя!

*Л. К. Ноябрь 1983 г.*

В своем недавнем интервью о творчестве основоположника «Смогизма» Леонида Губанова Юрий Кублановский, сам прекрасный поэт-смогист историософского толка, говорит: «Ну, а больше всего меня поразила непринужденность лирического потока. Меня восхищала в нем спонтанность поэтической речи, пронзительность строк и целых строф. Эта, так сказать, антиакмеистическая манера письма. Акмеисты боролись за каждый образ, за каждую строфу, считая их самоценными. Возьмем, к примеру, поэзию Ахматовой. Она на удивление ровна. Ровен ранний Мандельштам. А если обратиться к поэзии Цветаевой или Пастернака — раннему периоду — то это скорее цветовой импрессионизм, где в стиховом месиве, как драгоценные камни, блещут поразительные образы и строки».

Итак, Кублановский проводит прямую параллель творчества Губанова с творчеством Цветаевой и раннего Пастернака. Не сомневаюсь, что знатоки твор-

чества Губанова полностью согласятся, что филогенетически он идет именно от них и от других великих, речь о которых впереди. Ну, а с каким явлением далекого прошлого можно сравнить цветовой импрессионизм Цветаевой, раннего Пастернака и их законного наследника Леонида Губанова?

Вот некоторые размышления о «Слове о полку Игореве», высказанные Игорем Шкляревским в его книге «Поэзия — львица с гривой»: «Извилистый блеск Стихии! Он сродни народной песни, ритму “Слова о Полку”, классические размеры по сравнению с ним кажутся строго параллельными мелиоративными канавами». Это о ритмических сбоях «Слова о Полку», столь свойственным Цветаевой, раннему Пастернаку и Леониду Губанову. Ну, а вот о цветовых образах, о цветовом импрессионизме «Слова»: «Сон Святослава — его Золотое Слово — поток гениальных образов, а что рисуют художники?» Или вот как рассуждает Шкляревский о предпринятой некоторыми исследователями попытке навязать «Слову» так не свойственную ему «научнообразную» символику — нельзя всех птиц и зверей превращать в символы: лебедь, мол, — половец, сокол — русич: «Сумароков ни одной птицы, ни одного зверя не пропустил мимо своей схемы. Всех загнал в символы. А в стихах просто так летают вороны и каркают. Лисицы брешут на красные щиты. Никакого символа здесь нет, просто цветовой образ. Гениальный».

Итак, автор «Слова» явно не был символистом, а в своих ритмических сбоях и цветовых орнаментах он куда ближе к красочному импрессионизму Цветаевой, раннего Пастернака, а также Юрия Кублановского, Владимира Алейникова и Владимира Батшева. Возможно, что он, автор «Слова», был самым гениальным предсмогистом. Ну, а к каким еще поэтическим явлениям XX века близок лирическо-цветовой поток перечисленных выше авторов?

В антологии «Серебряный век» Сергей Есенин и Николай Клюев помещены в раздел «Новокрестьянские и пролетарские поэты». Но, как известно, Есенин в начале 20-х гг. не считал себя ни крестьянским, ни тем более пролетарским поэтом, а считал он себя прежде всего имажинистом. Имажинизм — это очень мощное поэтическое течение, идущее от автора «Слова». Это — запоздалый импрессионизм русской поэзии. Имажинисты — прямые предшественники смогизма.

К слову замечу, что имажинизм для Есенина не был просто пустой декларацией, и самые его лучшие, на мой взгляд, вещи: «Исповедь хулигана», «Сорокоуст», «Пугачев» и «Черный человек» — написаны именно в имажинистском ключе — путем скрещенных образов. То же самое относится и к лучшим стихам незаслуженно забытых прекрасных поэтов-имажинистов Вадима Шершеневича, Александра Кусикова, к творчеству Мариенгофа, который как имажинист более реализовался в прозе, чем поэзии, особенно в его изумительном «Романе без вранья» — о Сергее Есенине.

Под «передовой линией имажинистов» так же смело мог подписаться и учитель Есенина Николай Клюев. Ведь если все творчество Есенина — это сплошной метафорический орнамент, то все творчество Клюева, особенно его вершинные

«Избяные песни» и поэма «Погорельщина», — единый метафорический узор. Недаром так трепетно относятся к Клюеву такие крупные поэты-смогисты, как Юрий Кублановский и Владимир Алейников. И если имажинизм был почти полностью задушен в середине 20-х гг, то смогизм — в середине 60-х, сразу же после хрущевской оттепели.

Как обрезы глядят в глаза,  
Твоих образов образа, —

писал о поэзии Губанова его лечащий врач из больницы «Кашенко» Лев Дубницкий, любивший поэта любовью психотерапевта и гениального читателя. Ведь такая же система образов присуща и имажинистам, а также и Клюеву. И хотя Клюев терпеть не мог самого слова «имажинизм» и считал его сатанинской «придумкой» Мариенгофа, сам он, волей или неволей, был великим имажинистом, или же — предсмогистом. Недаром, говоря о безвременно ушедшем Губанове, другой крупный смогист Владимир Алейников сравнивает его в первую очередь с Клюевым. И действительно, не было бы «Избяных песен» и «Погорельщины» — не было бы и таких строк Губанова:

Муза! Муза! Чар своих не пронеси.  
Третий раз один и тот же вижу сон, —  
Я — Царь-Колокол, да, видно, на Руси  
Не поднять меня, — а вот уж был бы звон!

Или:

Дайте небо головы  
В изразцовые коленца.  
Дайте капельку повить  
Молодой осине сердца.

И не было бы имажинистской строфы Есенина:

Так кони не стряхнут хвостами  
В хребты их пьющую луну...  
О, если б прорасти глазами,  
Как эти листья в глубину.

Не было бы и знаменитого пророческого губановского:

Умер я, сентябрь мой,  
Ты возьми меня в обложку,  
Под восторженной землей  
Пусть горит мое окошко.

В этой строфе он предугадал свою безвременную кончину в сентябре 1983 г. Временами Губанов вступает в сознательную переключку и с другими своими предшественниками:

За этот ад,  
 За этот бред —  
 Пошли мне сад  
 На старость лет  
 (М. Цветаева);

За этот шрам, за этот смех,  
 За эту дьявольскую маску,  
 За этот хлам, что храм для всех,  
 Пошли мне смерть и жизнь на Пасху  
 (Л. Губанов).

Или же:

Действительно, лавина есть в горах!  
 И вся моя душа в колоколах...  
 (О. Мандельштам)

За душою — ни наследства, ни кола.  
 Я — как Новгород — в одних колоколах  
 (Л. Губанов).

Да, явно, что смогизм, как и имажинизм, возник не на пустом месте. На одном из немногих полуофициальных вечеров СМОГа в московском «Доме литераторов» поэт Семен Кирсанов сказал: «Только среди футуристов были такие поэты, <...> в этих молодых органично воплотилась культура 20-х годов. Они ее преемники...»

Теперь, спустя столько лет, в 2012 г., уже смело можно сказать, чьими приемниками были Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Алейников и Владимир Батшев. Они были прямыми преемниками автора «Слова», Цветаевой, раннего Пастернака, Николая Клюева и Сергея Есенина в его высших, имажинистских проявлениях.

Какая участь была уготовлена тогда, на исходе хрущевской оттепели, этим почти гениальным юношам? Какая участь была уготовлена тогда всему поэтическому поколению, рожденному в 1945–1946 гг.? Их творения просто-напросто приходилось прятать от спецхранов КГБ. В 6-м номере журнала «Волга» за 1990 г. опубликована статья Ольги Седаковой, которая называлась «О погибшем литературном поколении. Памяти Леонида Губанова». В ней, в частности, говорилось: «Наше поколение столкнулось с такой ситуацией, когда не идеи, не политические взгляды, не что иное, а одаренность сама по себе оказалась политически нежелательным явлением». Далее Ольга Седакова пишет, что расхождение произошло не только с властью предрержащими, но и с так называемыми шестидесятниками — с «либералами и прогрессистами», при чем молчаливом непотворении погибло младшее литературное поколение. Невольно вспоминаются пророческие слова Бруно Ясинского о тех, с чьего молчаливого согласия совершаются все самые страшные преступления.

В своей статье Ольга Седакова говорит и о погубленном, заживо погребенном, словно малолетний российский император Иоанн Антонович или же княжна Тараканова, поколении, родившемся в 1945–1946 гг., чей поэтический восход совпал с траурным закатом хрущевской оттепели. Но ведь было полностью погублено и так же заживо похоронено и следующее за ним поколение — 1950–1959 гг., чье поэтическое становление полностью совпало с махровым цветением застоя и марзма — серединой 70-х... и до самого 1985-го г. Поэтому сейчас от поколения

Губанова и Кублановского мне не терпится перейти к своему поколению, чье рождение приходится на 1950–1959 гг.

О том, что я смогист или же постсмогист, сам я впервые узнал от самого Леонида Губанова, приблизительно за полтора года до его смерти. Мы тогда часто встречались с ним в Столешниковом переулке, в огромной мансарде художника Геннадия Доброва, в которой, кстати, уже после, в сентябре 1983 г., справлялись потрясшие всю поэтическую Москву поминки по Губанову. Когда Губанов попросил меня почитать ему мои собственные стихи, я стал читать те, в которых были такие строки:

И рядышком тридцатилетка,  
Интимная, как пальцев хруст,  
Она сама почти летела,  
Вся — как сухой горящий куст!

Губанов слушал молча и напряженно:

Я жду тебя — и боль моя сквозная,  
С твоею ноженькой средь режущих дорог,  
Идешь ты каждой жилочкой, родная,  
Мой пыточно-привычный сапожок!

И неожиданно сказал: «Старик, да ведь ты тоже смогист!» С этого дня я и стал ощущать себя смогистом, хотя не отказываюсь и от своих традиционных стихов.

К смогистскому направлению можно отнести и поэзию Сергея Касьянова: «Друзья взошли крестами», «Светлый лебедь огня ниспадет на меня», «И со вскриком раздранного горе-холста», «Незрячим дымом ночь слезила», «В осеннее стадо костров», «Все лепетала лепе...талая природа», «Гнедым листопадом прядая», «Лицо ее пустынею светло». Даже одно перечисление этих вкуснейших строк доставляет мне огромное наслаждение. А строфа:

Застыла баланда, щека солона,  
Морозно на лесопавале,  
В стеклянной ушанке звенит седина,  
Кого отпевали!?

А строки из его стихотворения «Памяти Высоцкого»:

И побрела Россия мимо,  
Вагоны шли порожняком.

Теперь я перехожу к творчеству замечательного русского поэта Андрея Шацкого. Когда о Шацкове говорят, что он последний осколок Серебряного века, я отвечаю словами Станиславского: «Не верю!» Последним осколком Серебряного века был Георгий Иванов! А филогенетика Андрея Шацкого иная. Она идет, говоря словами Анны Ахматовой, от некалендарного XX века, начавшегося в аккурат в 1914 г. А он был и железным, и медным, и дубовым, и земляным, и крова-

вым, а также — жемчужным, платиновым, алмазным. Больше всего меня как последовательного смогиста поражают его метафорические узоры и орнаменты, идущие от великого Клюева, Есенина, Кусикова, Мариенгофа и Шершеневича, от крестьянских поэтов Сергея Клычкова и Петра Орешина. Ближе к нашему времени — пересечение с поэтами-смогистами Леонидом Губановым, Юрием Кублановским, Владимиром Алейниковым и Владимиром Батшевым. И все это потому, что и Клюев, и Есенин, и крестьянские поэты, и имажинисты, и наследующие им смогисты черпали из таких бездонных колодцев, как «Слово о Полку», «Калевала», «Песнь Песней», из русских былин и песен.

Само слово СМОГ расшифровывается как Смелость, Мысль, Образ, Глубина. У Шацкова прослеживается ярко-выраженное метафорическое мышление, но мысль у него всегда соседствует с образом. Мой покойный учитель, любивший стихи Шацкова, прекрасный поэт Александр Коренев писал: «Нет в поэзии случайных тем, потому, что образ больше мысли». Но у Шацкова и образ и мысль работают на равных, и получается этакий сильно заряженный энергетикой Земли мыслеобраз, такой энергетический сгусток, проникающий в самые глубины читательского подсознания. Они, если можно так сказать, написаны черноземом под корки, чего никакой прозой не выразить. Это выражение Невыразимого. Отсюда их сакральность для российского читателя, в какой бы части света он не жил.

Кстати, метафоры Шацкова, даже двадцатилетней давности, живут и здравствуют до сих пор, в отличие от чисто умозрительных и вымученных псевдометафор так называемых поэтов-метафористов, из которых в последние застойные годы пытались создать искусственный «совковый авангард». Не вышло...

Что касается концептуально-философской составляющей поэзии Шацкова, то она у него по-доброму евразийская, идущая от А. К. Толстого, а также от всех трех Аксаковых. В его стихах, как река в разливе, разлита старомосковская доброта и широта. Недаром мой друг блестящий лингвист Сергей Григорьев говорил, что мало у кого встречал такое чудное московское произношение, как у Шацкова. Не откажу себе в удовольствии процитировать некоторые наиболее любимые мной строки Шацкова, говорящие сами за себя: «Сугробов белые колени загнула вьюга у крыльца», «Мир жесток, как испытый палач», «Зрел март, всходя опарою сугроба», «Божьи руки над Русью раздвинули занавески пасхальной зари», «На склоне змеей ускользнувшего дня — лукавый проснулся», «И рванула подвздошная жила, как весною заплот у пруда», «Белы снега, словно горностаи, запорошат нашу старину», «И все рыжее роц осенних — лис».

Теперь перехожу к еще одному поэту нашего поколения — Александру Климову-Южину. Со смогизмом его роднит земляной энергетический напор и мощный фантастический реализм всего его творчества. Он словно пишет одну большую «Земляную книгу». В предисловии к одной из его книг Евгений Рейн писал: «Климов-Южин поэт темной глубины, точных и насыщенных образов,

пришедших как бы из сновидения. Он пишет красками густыми, как мед, как иконописец он втирает в свои прозрачные мазки яичный желток...»

Необычайно точное наблюдение. Подтверждаю как бывший лепщик-реставратор. К этому хочется добавить, что Климов-Южин так же пишет углем и землей, как писал некоторые свои картины и зарисовки великий русский художник Анатолий Зверев. Да, землей и углем. Землей — рыдающей и углем — то черным, то горящим. В его книгах стоит Великая гарь, Рыдалистая дрожь, Вневременная тревога, как во времена Батыя и Мамая.

Евгений Рейн отмечает из климовского программного стихотворения «Чернава» отрывок:

Там пчелы черный мед к летку несут  
И черные собаки в спину лают.  
Там бабки земноокие живут  
И девки после сглаза не рожают.  
А небо голубое, а видать  
До небоземи, кровь черна под кожей,  
И начинаешь смутно понимать,  
Что свет и темнота... одно и то же.

В аннотации к программной книге Климова-Южина «Чернава» сказано: «Селение Чернава находится в верхнем течении Дона на рязанской земле. Первое упоминание относится к 1263 году. Эта книга попытка восстановить привязанность поэзии к топониму. Образцы намечены еще Державином в “Жизни Званской”». Полностью согласен, но помимо державинской «Жизни Званской», книга «Чернава» так же перекликается с вымышленным Маркесом в романе «Сто лет одиночества» мифическим городом Макондо, с вымышленным Фолкнером миром Йокнапатофа, созданным могучим воображением писателя и вобравшим в себя характерные черты американского Юга.

Главный стержень романа «Сто лет одиночества» — это «вымышленный Маркесом город Макондо, обобщенно воспроизводящий историю провинциальной Колумбии — точнее, тех областей страны, которые поначалу были отрезаны от внешнего мира, погруженные в сонную одурь...» — пишет критик Л. Осповат. И в «Чернаве» Климов-Южин не столько описывает, сколько переосмысляет и создает заново из крови, грязи и плоти своих героев и антигероев, и они у него получаются необычайно витальными, как в Макондо Маркеса и Йокнапатофе Фолкнера. Таковы Грын из одноименного стихотворения, непутевый Гарик хрустальный, Вилков и многие-многие другие.

Хочется сказать, что сам по себе реализм в чистом виде, хоть в прозе, хоть в поэзии, отжил свое. Ему на смену пришел фантастический и магический реализм. Поэтому Фолкнер всем своим творчеством так повлиял на фантастического реалиста Маркеса и на русского почвенника Валентина Распутина. Хочется добавить, что «Чернава» — это топоним, не просто имеющий чисто этнографическую ценность, но мощнейший выброс земляной глубинной энергии русской глубинки.

Итак, «Чернава» — это земляная составляющая творчества Климова-Южина, что роднит его с Фолкнером и Маркесом, особенно с фантастическим реализмом Маркеса, ведь сам по себе чисто этнографический колорит, не заряженный глубинной энергетикой земли и лишенный земляной фантазии, быстро выцветает. А вторая составляющая творчества Климова-Южина — это историософия. Цикл исторических стихотворений роднит его с поэтом-смогистом Юрием Кублановским. В первую очередь такие стихи, как «У турок злобный нор», «В боевом построенье». Попутно следует заметить: вся русская религиозная философия: Бердяев, Розанов, Шестов — это органичный синтез поэзии и истории.

И закончить я хочу творчеством своего самого любимого поэта из следующего за нами поколения, рожденного в середине 60-х гг., Валерия Дударева. С смогизмом его связывает мощный евразийский напор и необычайная внутренняя высветленность. Его благословили Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский. О нем писали прекрасные статьи Лев Аннинский и Инна Ростовцева. «Кротость и мощь» — так высказался в свое время Евгений Евтушенко о творчестве Бориса Чичибабина, имея в виду его программное стихотворение о микешенском колоколе:

Да буду и гулок, как он, и глубок,  
 Да буду, как он, совестлив и мятежен,  
 В нем кротость и мощь. И ваятель Микешин  
 Всю Русь закатал в тот громовый клубок!

Да, именно чичибабинский «Колокол» приходит на ум, когда я читаю и пречитываю мощные и высветленные стихи Валерия Дударева. Да, мощь и свет! Свет из глубины стиха, как из глубины бездонного колодца, тяжело дается даже очень талантливым поэтам. Куда проще наворотить целые горы беспросветной тьмы и мрака. А вот Дудареву этот свет удастся, так как ему присущ довлатовский дар «органического беззлобия» и его стихи полностью лишены всегдашней совковой назидательности. Есть только восторг и порыв. И вечный внутренний свет. Чего только стоит его стихотворение, начинающиеся словами: «Росказней героических, между прочим», где есть такие строки:

Не разил пехоту наповал,  
 Не бомбил селения украдкой —  
 Счастлив тем, что в этой жизни краткой  
 Никого, браток, не убивал.  
 Сиротой Ахмедку не оставил,  
 Не оставил беженку вдовой,  
 Одногодка мой во вражьем стане  
 Воротился к матери живой...

Да, такого внутреннего света наша поэзия не знала со времен есенинского:

Не злодей я и не грабил лесом,  
 Не расстреливал несчастных по темницам... —



про которое Мандельштам сказал, что за него Есенину можно простить все его пьяные дебоши и скандалы. И тем не менее в этом стихотворении чувствуется огромная потенциальная сила, готовая за себя постоять на своей родимой земле. Чем-то оно даже напоминает некоторые стихи Николая Тuroверова, который, описывая кровавую Гражданскую войну белых и красных, не покривил душой ни в одной строчке. Необычайная магия исходит и от стихотворения Дударева «Руза», где есть строфа:

Приходит ночь, грешно и матово,  
Всегда с предчувствием снегов, —  
В ней ивой кажется Ахматова  
И мхом лесным Мариенгоф.

Только от одной этой строчки в памяти воскресает не только Анатолий Мариенгоф, но и такие прекрасные и незаслуженно забытые поэты-имажинисты, предшественники смогистов, как Вадим Шершеневич и Александр Кусиков, написавший лучший русский романс двадцатого века «Слышен звон бубенцов...»

Так же необычайно мощна и евразийская составляющая поэзии Валерия Дударева, особенно стихотворение «Гунны»:

Встанем без гимна! Пойдем без флага,  
И затрещат миры!  
Наше ученье: Орда и Брага!  
Наши дары — остры!

Да, от этого стихотворения исходит силища, подобная энергетическому напору двух первых книг Николая Тихонова «Орда» и «Брага». И если Тихонов этот напор растерял в своих последующих книгах, то Дударев набирает и набирает новые обороты. Несмотря на то что Дударев поэт абсолютно православный, от некоторых его стихов исходит какой-то таинственный почти языческий свет. Например, такое:

Поляне жили тут?  
Древляне?  
Бог весть...  
Но светлячков на той поляне  
Не счесть...  
Не счесть...

Своим высветленным языческим светом эти строки напоминают самую светлую часть фильма «Андрей Рублев», где показаны языческие ночные купания с несравненной Маргаритой Тереховой. А вообще стихи Дударева имеют золотисто-белую ауру, как небесная Москва и небесный Иерусалим, которые подспудно присутствуют в каждой его строчке.